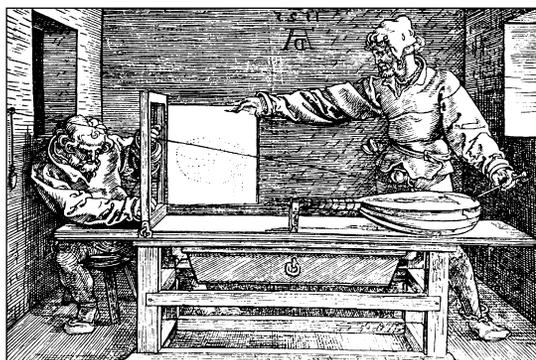


Два века

Стилевые циклы российской политической истории

Денис Драгунский



Почему здание — особенно если оно выдающееся, шедевр архитектуры — выглядит именно так, а не иначе? Что определяет его узнаваемый образ? Принято считать, что архитектурная форма задается четырьмя параметрами: функцией, конструкцией, материалом и традицией. Однако «форма» все же выступает и как некий самостоятельный фактор [Ревзин 2002]. Иначе не существовало бы ни шедевров, ни заурядных сооружений, а все строения были бы на одно лицо. Есть некое творческое усилие, позволяющее преодолеть инерцию функциональных требований, конструктивные и материальные императивы, а также давление культурного контекста — ради создания формы, так сказать, с плюсом, то есть той формы, которая имеет самостоятельное значение, а не является простой производной от вышеуказанных факторов. Той формы, которая уже сама начинает предъявлять требования к материалу, модифицировать конструкцию и даже задавать новые функции. И, тем самым, формировать новую традицию, новый стилистический контекст.

Думается, нечто подобное можно наблюдать в политической истории.

Политика (в частности, международная), помимо своих целей, инструментов,

ценностей, всей совокупности национальных ресурсов и институционального контекста, обладает неким своеобразием формы. Оно не сводится к вышеуказанным моментам, как бы сильно эти моменты на него ни влияли. Политика определенного времени и определенного места всегда обладает собственным стилем как интегральной характеристикой, позволяющей распознавать, описывать и оценивать ситуацию в целом и выявлять внутренние соответствия факторов.

«Стиль», как и «форма», «образ» (а также «тенденция», «умонастроение», «интенция» и т.п.), — не вполне строгие термины. Банальным стал гегелевский афоризм о форме как содержании, становящемся формой, и наоборот.

Подобных не слишком определенных, но необходимых терминов не так уж мало. Эти избыточные и многозначные слова позволяют нам описывать реальность более адекватно и, как ни парадоксально, более точно, чем строгие и однозначные параметры. Точность, в конечном итоге, есть категория прагматическая: бывают моменты, когда взмах руки — более точное указание, чем сообщение географических координат.

Наше все

В начале советской эпохи в Петрограде вышла книга пушкиноведа Петра Губера о материях, весьма далеких от политики и политической науки. Да и само исследование было посвящено не столько литературному творчеству великого поэта, сколько отдельным аспектам его личной жизни [Губер 1923]. Однако в предисловии, озаглавленном «Пушкин и русская культура», автором были высказаны мысли, имеющие, на наш взгляд, огромное значение для понимания политической истории России.

Это заслуживает обширного цитирования.

«В русской истории XVIII век есть век удачи и успеха, век энергических усилий, увенчанных счастливыми достижениями, век смелости, новизны и внешнего блеска, век, по преимуществу, аристократический и дворянский, жестокий век, не менее жестокий, чем эпоха Великой Европейской войны (Первой мировой. — *Д.Д.*), так что XIX столетие представляется какой-то интермедией гуманности между двумя актами кровавой драмы.

То была эпоха чувственная, легкомысленная, дерзкая, скептическая, очень умная и даже мудрая по-своему, но без всякой психологической глубины, без способности к рефлексии и анализу, почти без морального чувства, с религией, всецело приспособленной к государственно-практическим целям. Эта эпоха оглушала себя громом побед и громом литавр; упивалась наслаждениями в полном сознании их непрочности и мгновенности; тратила силы не считая; не боялась смерти, хотя любила жизнь до безумия.

Рядом со своим предшественником XIX век кажется каким-то неудачником: в его анналах — только поражения, несбыв-

шиеся надежды, горькие сожаления. Это век совестливый, мнительный, болезненно щепетильный, неспособный ни переносить страдания, ни причинять их. Его суждения о людях и вещах сплошь да рядом производят впечатления наивности и даже недалекости. Но вместе с тем он гораздо более сложен психологически: внуки знают и чувствуют многое такое, о чем деды не имели понятия.

В отличие от XVIII, русский XIX век умеет ставить, если и не разрешать, философские проблемы; в общественных отношениях он ищет справедливости, в религии он мистик, в политике — простодушный идеалист. Незаметно, понемногу, он теряет и расточает большую часть того, что было приобретено холодным макиавеллизмом и тонким политическим искусством предыдущей эпохи. На рубеже XIX века Россия была первой державою Европейского Востока и короткое время спустя сделалась гегемоном всей континентальной Европы, вершительницей ее судеб. В конце века Россия — держава сравнительно второстепенная, понемногу втягивающаяся в орбиту чужой политики. Еще несколько лет — и для нее наступает пора внешних унижений, частичных разделов, политического и территориального умаления. Победа над Наполеоном была окончательной реализацией культурного перелома, совершенного Петром Великим. Японская война и весь период, за ней следовавший, — реализацией движения, начатого русским образованным классом и русской литературой после Пушкина и вопреки Пушкину» [Губер 1923].

Итак, мы видим картину очень смелую и сильную. Но при чем здесь Пушкин?

Пушкин своим творчеством и своей личностью метафорически определил цикличность русских политических стилей.

Метафорически — потому что Пушкин не был осуществленной политической волей; не был он и сакральной политико-религиозной фигурой. *Определил* — потому что волею культурной судьбы он был «нашим всем» даже тогда, когда его собственное мировоззрение и стиль резко противоречили стилю и мировоззрению других, пушкинских, эпох.

Губер доказывает, что Пушкин был писателем XVIII в. Он гениально завершил, оформил эту великую эпоху. Ему — как и XVIII веку в целом — были свойственны имморализм, атеизм, западничество, патриотизм, государственничество и эстетизм. В то время как весь XIX век проникнут нравственными и религиозными поисками, почвенничеством, культом самобытности в сочетании с критикой своей страны и своего правительства, а в области художественного творчества — безусловным приоритетом содержания над формой. Однако институциональное проникновение Пушкина в русскую культуру было столь мощным, а его культ столь безусловным, что «пушкинский политический стиль» мог стать дополнительным фактором, определившим двукратное возрождение XVIII века в нашей недавней политической истории.

Циклы

В цитированном отрывке Губер пишет о «разделах, политическом и территориальном умалении». Разумеется, он имеет в виду первые годы после Октябрьской революции. Но то же самое можно сказать о 1990-х годах. А то, что сказано о победе над Наполеоном, можно сказать и о победе над Гитлером, о последующей — почти на полвека — гегемонии над половиной континентальной Европы. И затем — «втягивание в орбиту чужой политики».

Губер пишет о цикличности, повторяемости культурных эпох: «Европейский XVIII век во многих отношениях воскресил традиции XVI, начисто, казалось бы, прерванные XVII столетием» [Губер 1923]. Далее филолог-пушкиновед отваживается на смелый политический прогноз: «...согласимся, что и XVIII век мог не стоять в русской истории совершенно изолированно». Если речь идет о ретроспективе, то это хоть и рискованное, но легко объяснимое указание на некоторое весьма отвлеченное сходство эпохи от Петра до Екатерины с эпохой от Ивана III до Ивана IV. Согласились. Но далее — гораздо интереснее. «Ничто не мешает ему послужить прообразом эпох новых, еще не наступивших. Уж не двадцатому ли столетию сужден этот удел?» [Губер 1923].

Теперь понятно, что дело обстоит именно так. Или почти так. Хотя бы в области имперского стиля.

XVIII столетие воскресло в классической Советской империи, браваурной, экспансивной, жестокой, самовлюбленной. «Борьба с низкопоклонством», настойчивое подчеркивание первенства России всегда, везде и во всем — это превращенная форма западничества, европейства. Россия (СССР) на закате своего «второго XVIII века» вновь — как при Екатерине II и ее удачливом внуке Александре I — утверждала свое место среди великих держав. Советская империя не стремилась к изоляции или к лапотной самобытности. Она стремилась к первенству на европейской и мировой политической, а значит, и культурной, и научной сцене. Именно ради этого первенства затевались странные спектакли с самолетом Можайского и лампочкой Яблочкова. Другое дело, что сама идея научного приоритета, авторского права, интеллектуальной собственности, в конце концов, — идея совершенно понятная и оправданная в

плане формирования национальной идентичности; вредны лишь откровенные глупости. Доказательство тогдашнего хоть и своеобразного, но европеизма — советский переводческий азарт. Практически вся мировая литература существует в переводах на русский язык. Пожалуй, такого нет более ни в одной стране.

Возрожденный стиль продержался не так долго, лет сорок по самым благосклонным подсчетам. Шестидесятничество и брежневский застой знаменовали начало перехода в советскую (а далее постсоветскую) версию XIX века, с преимущественным вниманием к проблемам личности, с новым богоискательством, с попытками в который раз возвратиться к национальным истокам. И, разумеется, с сильным антигосударственным пафосом, который стал идеологической легитимацией «разделов и умалений».

«Второй XIX век» оказался еще короче: он продолжался лет двадцать.

Имперский период советской истории повторил — в весьма общих стилистических чертах — период расцвета российского имперства XVIII в. Похоже, именно сейчас, на наших глазах, в России в третий раз возникает сходное явление. На национальной сцене снова меняются декорации и переписываются роли. Вот герои и сюжеты новой старой русской пьесы: государственная идея, патриотический европеизм, активная работа по расширению международного влияния страны, появление новой аристократии из служилого сословия, культ политической целесообразности, выстраивание иерархий, девальвация горизонтальных связей. И — в культурном измерении — властители дум (писатели) уступают властителям глаз (архитекторам). «За пять лет в России меняется многое, за двести лет — почти ничего» [Осипов 2007].

Кто владеет прошлым

«XVIII столетие <...> было не чуждо искусства: благодаря ему мы имеем наши красивейшие здания, до сих пор украшающие Петербург, наши лучшие картины, дворцы Растрелли, полотна Левицкого и Боровиковского. Но в области слова это столетие было немым» [Губер 1923].

Похоже на правду. «Сходство (эпох. — *Д.Д.*), проистекающее из такой повторяемости, никогда не бывает фотографическим». Это именно сходство, а не совпадение. Поэтому в рамках нашего рассуждения можно сказать, что та часть российского XX века, которая воспроизводит XVIII век — как стилевой феномен, как эпоху жестоких побед, — в аспекте художественной культуры была столь же бессловесной, как и в столетие Петра I и Екатерины II.

Разумеется, на протяжении всего XVIII века писались и издавались книги, претендовавшие на звание литературы (именно художественной литературы, а не политической публицистики, моральной философии или просветительских лекций). Однако сведущие читатели уже тогда посмеивались над Тредиаковским и Сумароковым, над многословными эпопеями, «Петридами» и «Россиядами». Другое дело, что XVIII век не имел своего драгоценного прошлого, которое по крупинке, контррабандой, перетаскивалось в настоящее. Точнее, драгоценное прошлое было, но оно не осознавалось как таковое. Культура XVIII века жила формированием будущего; культура русского XX века, особенно его последней четверти, жила реставрацией прошлого, раскрытием архивов и спецхранов, отменой цензурных запретов. Эта деятельность не была самоценной — в огромной мере она была направлена на позитивную переоценку неприятного полувека

русской культуры, на выстраивание моста между Серебряным и Глянцевым веками, на утверждение неразрывности культуры, причем не «культуры вообще», а в лучших или хотя бы нестыдных образцах словесного (да и визуального) творчества.

Именно в эпоху гласности, в девяностые годы XX в., парадоксальным образом сбылось предсказание Евгения Замятина: «Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое» [Замятин 1921].

Русская словесность 1930–1980-х годов была крайне неоднородной. На ее обочине едва существовали продолжатели русской классической традиции и практически задавленный авангард предреволюционных и первых послереволюционных лет. Горький был памятным, но и только. Маяковский был лучшим и талантливейшим, но абсолютно одиноким. Основной поток этой словесности, наверное, девяносто пять процентов легитимного массива текстов составляли собственно русская советская литература, произведения социалистического реализма. Это было нечто монструозное, сравнимое разве что с писаниями Хераскова и менее фундаментальных, но столь же бессмысленных и бездарных описцев и эпопейщиков XVIII в.

Сегодня для продвинутого читателя русская советская проза — это Бабель, Платонов, Булгаков и даже Солженицын, но уж никак не Фадеев, Gladков, Панферов и сотни их менее талантливых (и по этой причине еще менее пристойных политически) современников, которые и составляли смысловую стержень и арифметическое большинство советской литературы. Такое своего рода «переписывание истории» психологически оправдано. Читателям и почитателям Толстого и Тургенева, Достоевского и Чехова трудно было поверить в

самую возможность нравственного и художественного падения, которое испытала русская литература в 1930–1980-е годы. Проблема состояла в том, что все тогдашнее образованное сословие состояло из читателей и почитателей великой русской литературы. Левые загибы ранней советской школы были решительно устранены, школьники и студенты прилежно изучали русскую классику, меж тем как современная им литературная реальность никак не соответствовала высоким критериям. Ни милости к падшим, ни проклятых вопросов, ни вечерних огней.

Широкое распространение получили возражения против смешения русской и советской литературы. Однако все же думается, что на территории СССР в означенное время эти понятия были синонимами. Политическая позиция или социальная судьба автора ничего не меняет в его национально-культурной идентичности — иначе мы будем вынуждены разделить римскую литературу на республиканскую (Цицерон, Овидий) и императорскую (Цезарь, Гораций). Советское было русским по происхождению и по институциональной нагрузке — хотя сейчас этот факт мало кого радует.

Оправданием русской советской литературы (вернее, культурным оправданием политической и социальной специфики периода 1917–1991 гг.) стали именно те писатели и те книги, которые тогда либо устранялись из легитимного поля культуры, либо ставились под сомнение, помещались в это поле в сильно адаптированном виде, с уничижительными комментариями. Это были как раз те авторы, которые наследовали XIX веку, во всяком случае, в этическом смысле (разумеется, за исключением авангарда; впрочем, авангард занимает весьма скромное место на «золотой полке» русской литературы XX столетия). Произошла не-

кая смена, вернее, историческая подмена фигур и ценностей. Бравый «второй XVIII век» русской культуры был переосмыслен с точки зрения предыдущей эпохи, совестливой и щепетильной, демократичной и человеческой — настолько, насколько эти ценности могли реализоваться в монархической России.

Понятно желание расчитаться с неприемлемым прошлым, оценить его, переосмыслить, переправить, пусть даже проклясть, но вряд ли стоит всерьез полагать, что его не было, или что это была случайная гримаса истории. В России экстравертный стиль XVIII в. сменяется интровертным стилем XIX в., и наоборот. Разумеется, это

утверждение само по себе ничего не объясняет, не отвечает на последний и самый, казалось бы, существенный вопрос: почему это происходит? Не Пушкин же виноват! Но этот вопрос хоть и последний, но не столь важный: даже если мы построим всеобъемлющую объяснительную модель, вряд ли она поможет в менеджменте политических стилей. Исходя из этого, можно сделать два практических вывода. Первый — эпоха не может выйти за свои стилистические рамки. Второй — если она захочет выйти, пусть остерегается: не провалиться бы в XVII век, в совершенно иной стиль — в пустой изоляционизм, без горчаковского «средоточения».

примечания

Губер П.К. 1923. Дон-Жуанский список Пушкина. Пг.: «Петроград».

Замятин Е.И. 1921. Я боюсь // «Дом искусств», № 1. Пг.
Осипов М. 2007. В родном краю // «Знамя», № 5.

Ревзин Г. 2002. Очерки по философии архитектурной формы. М.